

## Встретиться с собой

19 июня 1945 года ему исполнился 21 год. И уже год, как дома из похоронки знали, что он «пал смертью храбрых».

Он погиб и вернулся, чтобы понять («понять» — слово тяжелое, более мучительное, чем слово «рассказать») то, что уже не избыть.

Лучшую книгу о нем Игорь Дедков назвал «Повесть о человеке, который выстоял». Это очень верное название. Он выстоял не только в войне. Тяжелее и невыносимее был вот этот самый труд понимания. Читатель, который пройдет сейчас путь его героев впервые, поймет, какие были потребны силы, чтобы прожить эти немыслимые жизни.

Его товарищи по поколению (Астафьев, Кондратьев, Воробьев) иногда брали «увольнительные» и писали свет детства, житейские радости, бедный и счастливый мир довоенной и послевоенной жизни. Василь Быков с самых первых рассказов говорил только о войне. В этом смысле он подлинно не вернулся оттуда. И с самого начала он не писал торжества и победы. А только последнее напряжение срыва, крайнего испытания, гибели, из которых нельзя было выбраться прежним.

Виктор Петрович Астафьев в последние годы часто говорил, что с войны вообще нельзя вернуться живым. Во всяком случае, нельзя вернуться победителем. Можно разве выстоять, что выше победы.

Тут разговор сразу приобретает тяжелый характер, каков он в последнее время неизбежно становился, когда речь заходила об Астафьеве и Быкове. Особенно об этих двоих. Они пошли в понимании войны дальше даже своих жестких, часто ко-

римых и, к сожалению, до времени ушедших товарищей К. Воробьева и В. Кондратьева. Те еще были на святой и, при всей прямоте и резкости разговора, героической стороне.

Эти — на особицу и оба в конфликте с поколением, с общественной частью этого поколения, с теми, кто определил войну в раз и навсегда высокие и гордые, не подвергаемые резкому анализу страницы истории.

Василь Быков узнал властную силу этой общественной гордости раньше Астафьева, сразу после повести «Мертвым не больно», где двоящиеся герои (военный особист и обвинитель военного трибунала, которых солдат при послевоенной встрече принимает за одного человека) быстро нашли себе защиту в «Правде». Писателю скоро объяснили, что есть обстоятельства, в которых надо стрелять и судить своих для пользы общего дела, и изгнали повесть в молчание. Писатель еще и сам в этот час нетерпеливо спрашивал, искал прямого разговора и вполне в духе «оттепели» торопился выяснить цену человека и назвать зло злом с почти газетным простодушием: *«Менялись люди, происходили революции, человечество прорвалось в космос, освободило внутриатомную энергию. А те установки, вдолбленные в сознание их исполнителей, видно, стали их убеждением. Конечно, они сейчас не распинаятся о них на каждом углу, но вот, оказывается, и не стыдятся»*. Не только не стыдятся, а его стыдят и «народным мнением» запрещают.

Позднее он уйдет на молчаливые поля одного художественного свидетельства, оставив нас наедине с героями самим решать степень правоты героев и автора. Конфликты сюжетов пойдут затягиваться все туже. А пути героев делаться все теснее. В дело вступит судьба, которая тут поистине суд Божий, форма проявления правды. Появится странное чувство, что все они, как сам автор, живут с похоронкой внутри, которая сразу освобождает человека от общественного лицемерия и защитного быта, выставляя его на узкий высокий порог, с которого только и пути, что в гибель или в освобождающее понимание, которое внешне может закончиться той же гибелью, но внутренне — слепящим черным светом преобразования. Чер-

ным, потому что никто из них не увидит победы своего прозрения, ибо она и вообще еще не совершенна в мире. Человек еще остается в тенетах истории и самозащитной неправды, только на пути к подлинному человеку в себе. Автор не облегчает его путей, потому что, может быть, в высокой честности и не знает последних ответов и не торопит их самонадеянным разумом.

И если искать определение не одному автору («человек, который выстоял»), но всем его героям, всей мучающей Быкова неотступной идее, то вернее, наверное, было бы сказать: человек, который встретил себя.

...Зоська шла на очередное задание («Пойти и не вернуться»), а встретила любовь, чтобы тут же и потерять ее, и с сознанием едва открывшейся глубины мира обречено покатиться к гибели, потому что зло, оказалось расчетливее и беспощаднее ее чистоты. У войны свои правила, и их впервые понимает даже и вчера еще хороший партизан, а сегодня враг и противник Зоськи: *«Видно, нельзя так все сразу — жить для себя, для других, воевать, любить женщину и быть счастливым».*

...Старый солдат Агеев («Карьер») вернется во времена юности и будет долгое лето перекапывать старый карьер, чтобы успокоить себя, что четыре десятка лет назад, расстреливаемый здесь, он не погубил свою нечаянную возлюбленную, что чудо сберегло ее и он заплатил за все сам. Хотя они сразу были оба умны умом войны и не обманывали друг друга: *«Они старались не говорить о будущем, о том, что их ждет завтра, даже сегодня к вечеру, ночью. Они жили настоящим, каждым мгновением, ибо только это мгновение принадлежало им. Завтра для них могло не быть вовсе, вчера было давно и тоже не принадлежало им».*

Их открытия кажутся просты до бедности и нынешнему изощренному, вскормленному безопасным книжным знанием уму даже странны (о чем тут говорить?), но они знают что-то, что выше и значительнее слов, когда корят нас: *«Знаний о войне у вас хватает. Но вот атмосфера времени — это та тонкость, которую невозможно постичь логически. Это постигается кожей. Кровью. Жизнью. Вам же этого не дано».*

И вот эту-то «атмосферу», эту непостижимую тонкость он и пишет из повести в повесть. Его настойчивость, его желание достучаться до нашего сознания почти болезненны. Иногда кажется, что мы в его книгах кружимся на одном месте, на малом пятачке земли, никогда не знавшей солнца. Он отлично слышит плоть, материю мира, потому что до войны учился скульптуре. Эта осязательная, ненасытная «ощупь» изнуряет героев и читателя. Это выстуженное, враждебное человеку пространство трагедии, где и природа не знает света. Идут долгие глухие снега, льют ненастные дожди, мороз коробит бинты. Поля враждебны, леса чужды, дороги гибельны. Против них ополчается и время — не успевают дойти, дожить до рассвета, выйти к своим. Взбунтовавшаяся против войны жизнь ломает часы и времена года. Иногда этот мертвый холод выговаривается в самом имени повести.

«В тумане» проходит короткая и бесконечная, стремительная и вязко безысходная, с порога петлей затянувшаяся операция, в которой партизану Бурову надо было «просто» убить предателя. А все оказывается буднично и неразрешимо, словно туман стал вечным временем действия, мысли и жизни, и поднимется он, пожалуй, только, когда через два дня все герои повести, ничего не развязав и не сумев никому ничего объяснить, будут мертвы.

«Стужа» гонит вчерашнего комсомольца и молодого партийца, нынешнего партизана Азевича от деревни к деревне, где вчера он тяжело строил «светлое будущее», а сегодня ему нет пристанища, потому что он строил его слишком страшно. И теперь ему одинаково чужие и свои, и немцы.

До появления в литературе Василя Быкова такие сюжеты были не особенно в тягость. Ответы у авторов были готовы заранее, и предатель получал свое, партизан — свое. А тут погибает с клеймом предателя честный мужественный человек («В тумане»), и смерть навсегда уносит его тайну, и жена, сын, односельчане навсегда определяют его в молчаливые черные списки. Так что война и по окончании доберет свое искаженными судьбами, продолжая свою страшную жатву.

Не жалко было бы районного инструктора Азевича («Стужа») — увечил жизнь деревни гибельной коллективизацией, ломал жернова, оставлял детей без хлеба — пусть теперь помечется чужим по родной земле. А только Быков таких задач с известным решением не ставит и бумагу на них не переводит. В том-то и беда, что парень-то обыкновенный, совестливый, самый-самый народ в его середине. Да только во всю его молодую жизнь *«чужая воля правила свой дьявольский бал на человеческих жизнях... Он жил чужой совестью, по чужим законам (один ли он? — а мы, мы все! — В.К.). Жизнь и люди распоряжались им как хотели, он был удобным инструментом в чужих руках, всегда безвольно готовым к употреблению»*. И он уже давно сам увидел, что *«если происходящее во вред живущим, то не на пользу и последующим»*, сам увидел, что *«свои со своими начали воевать давно и делали это с немалым успехом»*. Только что же, что понял, если над ним уже НКВД кружит, сжимая круги, и некуда ему деться. У немцев — стужа, у своих — стужа. И он мечется по повести, заметаемый снегом, и плетется за ним черный молчаливый пес, возросший на трупах, не подходя и не отставая, как мысль и судьба. Не знает герой, куда деть это свое понимание. Разве только на последнем пороге утешит себя надеждой, что после войны люди будут разумнее.

Нет другого утешения у Зоськи, нет у Бурова, нет у Азевича, нет у лейтенанта Никольского («Дожить до рассвета»), ведшего людей, чтобы взорвать немецкий склад, а потерявшего и склад, и бойцов. И даже свою жизнь израсходовавшего на никчемного тылового немца. Кажется, лейтенант за всех своих товарищей по этой повести и за всех других быковских героев в последний час с особой тоской ухватывается за эту бедную мысль о неведомом, не сужденном им будущем.

«Он хотел верить, что все, им совершенное в таких муках, должно где-то обнаружиться, сказаться в чем-то. Пусть не сегодня, не здесь, не на этой дороге... Но ведь должна же его мучительная смерть, как и тысячи других, не менее мучительных смертей, привести к какому-то результату в этой войне. Иначе

как же погибать в совершеннейшей безнадежности относительно своей нужности на этой земле и в этой войне? Ведь за-чем-то он родился, жил, столько боролся, страдал, пролил го-рячую кровь и теперь в муках отдавал свою жизнь. Должен же в этом быть какой-то пусть не очень значительный, но все же человеческий смысл...»

Должен, должен же быть смысл в гибели юной Зоськи, в ги-бели товарищей уцелевшего, не знающего успокоения Агеева, в смерти правого Бурова и «неправого», «предателя» Суцzeni? Должен, но в каждой повести писателя, как и в последних страшных книгах Астафьева, смущавших его воевавших сверст-ников, как будто все маячит вопрос, и душа не успокаивается доводами разума. И понемногу начинаешь понимать причины расхождения этих мужественных писателей со своими старыми оппонентами, которым все кажется, что писатели умаляют их подвиг, отнимают высокий смысл у их победной жизни.

Вот Буров («В тумане»), коченея, уже видя неизбежность смерти, думает о своей и до войны незавидной жизни: *«Других лет не было у Бурова. Именно эти выпали на его долю... И в этот последний час жизни ему становилось нестерпимо обид-но за свою безвременно оборванную жизнь и скорую разлуку с белым светом... Не было времени жить, некогда по-человечес-ки умереть»*. Значит, тогда не было, и вот теперь писатель не сулит ему утешения хотя бы в победной славе.

Это может показаться несправедливым, если только мы не поймем, что старым авторам, таким же насквозь израненным солдатам, жалко этих молодых людей, как своих детей, умира-ющих, не успев пожить и порой не успев даже и сказать того, что поняли, унеся в смерть правду, которая могла выправить и озарить их жизнь. Эти немые исповеди услышали только писа-тели. И для этого слышания им самим потребовались годы, и оттого их боль только острее боли всякого кажущегося себе насквозь правым читателя. Это тяжело прочесть, но это сто-крат тяжелее написать, выносить эту боль в себе, заглянуть в самое ее дно и умереть с молодым Буровым, встать под рас-стрел с Агеевым, кружиться в мертвой стуже с Азевичем и вме-

сте с лейтенантом Никольским вглядываться в темную правду совершающегося.

«— Жить хочешь?

— Жить? — почти удивился боец. — Не худо бы. Но...

Вот именно — но! Это НО дьявольским проклятием встало поперек их молодых жизней, уйти от него никуда было нельзя. В то памятное воскресное утро оно безжалостно разрубило мир на две половины, на одной из которых была жизнь со всеми ее немудрящими, но такими нужными человеку радостями, а на другой — преждевременная, страшная в своей обыденности смерть... Чтобы как-то обойти ее, обхитрить, пересилить на своем пути, продлить жизнь, нужны были невероятные усилия, труд, муки... Разумеется, чтобы выжить, надобно было победить, но победить можно было, лишь выжив, — в такое чертово колесо ввергла людей война. Защищая жизнь, страну, надо было убить, и убить не одного, а многих, и чем больше, тем надежнее становилось существование одного и всех. Жить через погибель врага — другого выхода на войне, видимо, не было».

Эта правда была понятна им там, в молодой жизни. Там они не спрашивали, а воевали и гибли. Но вот приходит время, и старые солдаты уже спрашивают не с минувшей истории — она была и ушла, и новое поколение почти не находит их книги мужественными, потому что теперь можно писать все, — они спрашивают с истории нынешней и завтрашней. Можно ли и вперед жить через погибель врага? И можно ли обрекать новые поколения на то же кружение в кровавой тьме, из которой не бывает победного выхода? Для этого они и возвращаются, возвращаются в тяжкое, истошающее силы прошедшее и растравляют раны, которые так бойко заживила бодрая послевоенная литература.

Они выстояли в более важном. Им хватило мужества вернуться к полноте уже как будто похороненной правды, чтобы додумать то, что казалось навсегда решенным. Они не дождутся за это благодарности от старых сверстников, избравших самозащитный гнев, чтобы сохранить прошедшее только мужественно героическим (в стилистике А. Луначарского и Р. Рожде-

ственского — «Славно вы жили и умирали прекрасно»). Не дождутся и от молодых современников, которым уже скучна эта «тема» в любом ее переводе и кто уже готов избирать ее для иронических, а то и глумливых контекстов.

Но есть более важный и менее поспешный собеседник — время, есть мужественный разум, который понимает необходимость отвечать перед Богом за полноту человека и который медленно, может быть, по слову в столетие накапливает грядущую «декларацию прав человека», в которой не будет места жизни, завоеванной ценой гибели как можно большего числа других людей.

Опыт Василя Быкова и каждое слово этой горячей, страдающей, не сулящей ложного утешения книги освобождают человека от укороченной «правды», от духа лукавого мира, от пассивного круговорота истории, как от общего греха человечества. Всему свое время.

В один час мира и жизни Толстой скажет в «Войне и мире»: «...дубина народной войны поднялась со всею грозною и величественною силою и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие». Но когда дело совершится, мы услышим от него же: «Война самое гадкое дело в жизни». Василь Быков прошел этот путь весь и договорил эту правду словами нового века. И как та великая книга, эта продолжает дело вразумления человека, не умеющего выйти из круговорота исторической необходимости. Когда-нибудь эту правду услышим и мы.

Автор и его герои встретились с собой, с Господней полнотой ответственного понимания мира. Нам эта встреча еще предстоит.

*Валентин Курбатов*



## Глава первая

Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уже не осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека. Тут, наверно, и летом немного ездили, а теперь, после долгих февральских метелей, все заровняло снегом, и, если бы не лес — ели вперемежку с ольшаником, который неровно расступался в обе стороны, образуя тускло белеющий в ночи коридор, — было бы трудно и понять, что это дорога. И все же они не ошиблись. Вглядываясь сквозь голый, затянутый сумерками кустарник, Рыбак все больше узнавал еще с осени запомнившиеся ему места. Тогда он и еще четверо из группы Смолякова как-то под вечер тоже пробирались этой дорогой на хутор и тоже с намерением разжиться какими-нибудь продуктами. Вон как раз и знакомый овражек, на краю которого они сидели втроем и курили, дожидаясь, пока двое, ушедшие вперед, подадут сигнал идти всем. Теперь, однако, в овраг не сунуться: с края его свисал наметенный вьюгой карниз, а голые деревца на склоне по самые верхушки утопали в снегу.

Рядом, над вершинами елей, легонько скользила в небе стертая половинка месяца, который почти не светил — лишь слабо поблескивал в холодном мерцании звезд. Но с ним было не так одиноко в ночи — казалось, вроде кто-то живой и добрый ненавязчиво сопровождает их в этом пути. Поодаль в лесу было мрачновато от темной мешанины елей, подлеска, каких-то неясных теней, беспорядочного сплетения стылых ветвей; вблизи же, на чистой белизне

снега, дорога просматривалась без труда. То, что она пролегла здесь по нетронутой целине, хотя и затрудняло ходьбу, зато страховало от неожиданностей, и Рыбак думал, что вряд ли кто станет подстергать их в этой глуши. Но все же приходилось быть настороже, особенно после Глинян, возле которых они часа два назад едва не напоролась на немцев. К счастью, на околице деревни повстречался дядька с дровами, он предупредил об опасности, и они повернули в лес, где долго проплутали в зарослях, пока не выбрались на эту дорогу.

Впрочем, случайная стычка в лесу или в поле не очень страшила Рыбака: у них было оружие. Правда, маловато набралось патронов, но тут ничего не поделаешь: те, что остались на Горелом болоте, отдали им что могли из своих тоже более чем скудных запасов. Теперь, кроме пяти штук в карабине, у Рыбака позвякивали еще три обоймы в карманах полушубка, столько же было и у Сотникова. Жаль, не прихватили гранат, но, может, гранаты еще и не понадобятся, а к утру оба они будут в лагере. По крайней мере, должны быть. Правда, Рыбак чувствовал, что после неудачи в Глинянах они немного запаздывают, надо было поторапливаться, но подводил напарник.

Все время, пока они шли лесом, Рыбак слышал за спиной его глуховатый, простудный кашель, раздававшийся иногда ближе, иногда дальше. Но вот он совершенно затих, и Рыбак, сбавив шаг, оглянулся — изрядно отстав, Сотников едва тащился в ночном сумраке. Подавляя нетерпение, Рыбак минуту глядел, как тот устало гребется по снегу в своих неуклюжих, стоптанных бурках, как-то незнакомо опустив голову в глубоко надвинутой на уши красноармейской пилотке. Еще издали в морозной ночной тишине послышалось его частое, затрудненное дыхание, с которым Сотников, даже остановившись, все еще не мог справиться.

— Ну как? Терпимо?

— А! — неопределенно выдавил тот и поправил на плече винтовку. — Далеко еще?

Прежде чем ответить, Рыбак помедлил, испытующе вглядываясь в тощую, туго подпоясанную по короткой шинели фигуру напарника. Он уже знал, что тот не признается, хотя и занемог, будет бодриться: мол, обойдется, — чтобы избежать чужого участия, что ли? Уж чего другого, а самолюбия и упрямства у этого Сотникова хватило бы на троих. Он и на задание попал отчасти из-за своего самолюбия — больной, а не захотел сказать об этом командиру, когда тот у костра подбирал Рыбаку напарника. Сначала были вызваны двое — Вдовец и Глущенко, но Вдовец только что разобрал и принялся чистить свой пулемет, а Глущенко сослался на мокрые ноги: ходил за водой и по колено провалился в трясины. Тогда командир назвал Сотникова, и тот молча поднялся. Когда они уже были в пути и Сотникова начал донимать кашель, Рыбак спросил, почему он смолчал, тогда как двое других отказались, на что Сотников ответил: «Потому и не отказался, что другие отказались». Рыбаку это было не совсем понятно, но погодя он подумал, что в общем беспокоиться не о чем: человек на ногах, стоит ли обращать внимание на какой-то там кашель, от простуды на войне не умирают. Дойдет до жилья, обогреется, поест горячей картошки, и всю хворь как рукой снимет.

— Ничего, теперь уже близко, — ободряюще сказал Рыбак и повернулся, чтобы продолжить путь.

Но не успел сделать и шага, как Сотников сзади опять поперхнулся и зашелся в долгом нутряном кашле. Стараясь сдержаться, согнулся, зажал рукавом рот, но кашель оттого только усилился.

— А ты снега! Снега возьми, он перебивает! — подсказал Рыбак.

Борясь с приступом раздирающего грудь кашля, Сотников зачерпнул пригоршней снега, пососал, и кашель в самом деле понемногу унялся.

— Черт! Привяжется, хоть разорвись!

Рыбак впервые озабоченно нахмурился, но промолчал, и они пошли дальше.

Из оврага на дорогу выбежала ровная цепочка следа, приглядевшись к которому Рыбак понял, что недавно здесь проходил волк (тоже, наверно, тянет к человеческому жилью — не сладко на таком морозе в лесу). Оба они взяли несколько в сторону и дальше уже не сходили с этого следа, который в притуманенной серости ночи не только обозначал дорогу, но и указывал, где меньше снега: волк это определял безошибочно. Впрочем, их путь подходил к концу, вот-вот должен был показаться хутор, и это настраивало Рыбака на новый, более радостный лад.

— Любка там, вот огонь девка! — негромко сказал он, не оборачиваясь.

— Что? — не расслышал Сотников.

— Девка, говорю, на хуторе. Увидишь, всю хворь забудешь.

— У тебя еще девки на уме?

С заметным усилием волочась сзади, Сотников уронил голову и еще больше ссутулился. По-видимому, все его внимание теперь было сосредоточено лишь на том, чтобы не сбиться с шага, не потерять посильный ему темп.

— А что ж! Поесть бы только...

Но и упоминание о еде никак не подействовало на Сотникова, который опять начал отставать, и Рыбак, замедлив шаг, оглянулся.

— Знаешь, вчера вздремнул на болоте — хлеб приснился. Теплая буханка за пазухой. Проснулся, а это от костра пригрело. Такая досада...

— Не диво, приснится, — глухо согласился Сотников. — Неделю на пареной ржи...

— Да уж и паренка кончилась. Вчера Гронский остатки роздал, — сказал Рыбак и замолчал, стараясь не заводить разговора о том, что в этот раз действительно занимало его.

К тому же становилось не до разговоров: кончился лес, дорога выходила в поле. Далее по одну сторону пути тянулся мелкий кустарник, заросли лозняка по болоту, дорога от которого круто сворачивала на пригорок. Рыбак ждал, что из-за ольшаника вот-вот покажется дырявая крыша пуньки, а там, за изгородью, будет и дом с сараями и задраным журавлем над колодцем. Если журавль торчит концом вверх — значит, все в порядке, можно заходить; если же зацеплен крюком в колодезном срубе, то поворачивай обратно — в доме чужие. Так, по крайней мере, когда-то условились с дядькой Романом. Правда, то было давно, с осени они сюда не заглядывали — кружили в других местах, по ту сторону шоссе, пока голод и жандармы опять не загнали их туда, откуда месяц назад выгнали.

Скорым шагом Рыбак дошел до изгиба дороги и свернул на пригорок. Волчий след на снегу также поворачивал в сторону хутора. Очевидно, чувствуя близость жилья, волк осторожно и нешироко ступал обочиной, тесно прижимаясь к кустарнику. Впрочем, Рыбак уже перестал следить за дорогой — все его внимание теперь было устремлено вперед, туда, где кончался кустарник.

Наконец он торопливо взобрался по склону на верх пригорка и тут же подумал, что, по-видимому, ошибся — наверно, хуторские постройки были несколько дальше. Так нередко случается на малознакомой дороге, что некоторые участки ее исчезают из памяти, и тогда весь путь сдается короче, чем на самом деле. Рыбак еще ускорил свой шаг, но опять начал отставать Сотников. Впрочем, на Сотникова Рыбак уже перестал обращать внимание — неожиданно и как будто без всякой причины им завладела тревога.

Пуньки все еще не было в ночной серости, как не было впереди и других построек, зато несколько порывов ветра оттуда донесли до путников горьковато-едкий смрад гари. Рыбак сначала подумал, что это ему показалось, что несет откуда-то из леса. Он прошел еще сотню шагов, силясь увидеть сквозь заросли привычно оснеженные крыши усадьбы. Однако его ожидание не сбылось — хутора не было. Зато еще потянуло гарью — не свежей, с огнем или дымом, а противным смрадом давно остывших углей и пепла. Поняв, что не ошибается, Рыбак вполголоса выругался и почти бегом припустил серединой дороги, пока не наткнулся на изгородь.

Изгородь была на месте — несколько пар перевязанных лозой кольев с жердями криво торчали в снегу. Тут, за полоской картофляница, и стояла когда-то та самая пунька, на месте которой сейчас возвышался белый снеговой холмик. Местами там выпирало, бугрилось что-то темное — недогоревшие головешки, что ли? Немного в отдалении, у молодой яблоневого посадки, где были постройки, тоже громоздились занесенные снегом бугры с полуразрушенной, нелепо оголенной печью посередине. На местах же сараев — не понять было — наверно, не осталось и головешек.

Минуту Рыбак стоял возле изгороди все с тем же немолкавшим ругательством в душе, не сразу сообразив, что здесь случилось. Перед его глазами возникла картина недавнего человеческого жилья с немудреным крестьянским уютом: хатой, сенями, большой закопченной печью, возле которой хлопотала бабка Меланья — пекла драники. Плотно закусив с дороги, они сидели тогда без сапог на лежанке и смешили хохотунью Любку, угощавшую их лесными орехами. Теперь перед ним было пожарище.

— Сволочи!

Преодолев минутное оцепенение, Рыбак перешагнул жердь и подошел к печи, укрытой шапкой свежего снега.

Совершенно нелепым выглядел на ней этот снег, плотным пластом лежавший на загнетке и даже запечатавший устье печи. Трубы наверху уже не было, наверно, обвалилась во время пожара и сейчас вместе с головешками неровной кучей бугрилась под снегом.

Сзади тем временем притащился Сотников, который молча постоял немного у изгороди и по чистому снегу подворья отошел к колодезному срубам. Колодец, кажется, был тут единственным, что не пострадало в недавнем разгроме. Цел оказался и журавль. Высоко задранный его крюк тихо раскачивался на холодном ветру. Рыбак в сердцах пнул сапогом пустое дырявое ведро, обошел разломанный, без колес, ящик полузаметенной снегом телеги. Больше тут нечем было поживиться — то, что не сожрал огонь, наверно, давно растащили люди. Усадьба сгорела, и никого на ней уже не было. Даже не сохранилось человеческих следов, лишь волчи петляли за изгородью — наверно, волк тоже имел какие-то свои виды на этот злосчастный хутор.

— Подрубали называется! — бросил Рыбак, уныло возвращаясь к колодцу.

— Выдал кто-то, — сипло отозвался Сотников.

Боком прислонившись к срубам, он заметно поеживался от стужи, и, когда переставал кашлять, слышно было, как в его груди тихонько похрипывало, словно в неисправной гармонии. Рыбак, запустив в карман руку, собрал там между патронов горсть пареной ржи — остаток его сегодняшней нормы.

— Хочешь?

Без особой готовности Сотников протянул руку, в которую Рыбак отсыпал из своей горсти. Оба принялись молча жевать мягкие холодные зерна.

Пожалуй, им начинало всерьез не везти, и Рыбак подумал, что это невезение перестает быть случайностью: кажется, немцы зажимали отряд как следует. И не так

важно было, что вдвоем они остались голодными, — больше тревожила мысль о тех, которые мерзли теперь на болоте. За неделю боев и беготни по лесам люди измотались, отощали на одной картошке, без хлеба, к тому же четверо было ранено, двоих несли с собой на носилках. А тут полицаи и жандармерия обложили так, что, пожалуй, нигде не высунуться. Пока пробирались лесом, Рыбак думал, что, может, эта сторона болота еще не закрыта и удастся пройти в деревню, на худой конец тут был хутор. Но вот надежда на хутор рухнула, а дальше, в трех километрах, было местечко, в нем полицейский гарнизон, а вокруг поля и безлесье — туда путь им заказан.

Дожевывая рожь, Рыбак озабоченно повернулся к Сотникову.

— Ну ты как? Если плох, топай назад. А я, может, куда в деревню подскочу.

— Один?

— Один, а что? Не возвращаться же с пустыми руками.

Сотников зябко подрагивал от холода: на ветру начал люто пробирать мороз. Чтобы как-то сохранить остатки тепла, он все глубже засовывал озябшие руки в широкие рукава шинели.

— Что ты шапки какой не достал? Разве эта согреет? — с упреком сказал Рыбак.

— Шапки же в лесу не растут.

— Зато в деревне у каждого мужика шапка.

Сотников ответил не сразу.

— Что же, с мужика снимать?

— Не обязательно снимать. Можно и еще как.

— Ладно, давай потопали, — оборвал разговор Сотников.

Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле. Сотников враз ссутулился, глубже втянул в воротник маленькую в пилотке голову, норовя на ходу отвернуться



от ветра. Рыбак откуда-то из-за пазухи вытащил замусоленное, будто портянка, вафельное полотенце и, стряхнув его, повернулся к напарнику.

— На, обмотай шею. Все теплей будет.

— Да ладно...

— На, на! А то, гляди, совсем окочуришься.

Сотников нехотя остановился, зажал между коленей винтовку и скрюченными, негнуцимся пальцами кое-как закутал полотенцем шею.

— Ну во! — удовлетворенно сказал Рыбак. — А теперь давай рванем в Гузаки. Тут пара километров, не больше. Что-нибудь расстараясь, не может быть...

## Глава вторая

В поле было еще холоднее, чем в лесу, навстречу дул упругий, не сильный, но обжигающе-морозный ветер, от него до боли заходились окоченевшие без перчаток руки: как Сотников ни прятал их то в карманы, то в рукава, то за пазуху — все равно мерзли. Тут недолго было обморозить лицо и особенно уши, которые Сотников, морщась от боли, то и дело тер суконным рукавом шинели. За ноги он не опасался: ноги в ходьбе грелись. Правда, на правой отнялись, потеряв чувствительность, два помороженных пальца, но они отнимались всегда на морозе и обычно начинали болеть в тепле. Но на холоде мучительно ныло все его больное простуженное тело, которое сегодня вдобавок ко всему начало еще и лихорадить.

Им еще повезло — снег в поле был достаточно тверд или не слишком глубоок, они почти всюду держались поверху, лишь местами проваливаясь то одной, то другой ногой, проламывая затвердевший от мороза наст. Теперь шли вдоль гривки бурьяна по склону вниз. В поле было немного светлее, чем в лесу, серый призрачный сумрак

вокруг раздвинулся шире, внизу на снегу мельтешили от ветра сухие стебли бурьяна. Спустя четверть часа впереди затемнелся какой-то кустарник — спутанные заросли лозняка или ольшаника над речкой, и они не спеша пошли к этим зарослям.

Сотников чувствовал себя все хуже: кружилась голова, временами в сознании что-то как будто проваливалось, исчезало из памяти, и тогда на короткое время он даже забывал, где находится и кто с ним. Наверно, в самом деле надо было воротиться или вовсе не трогаться из леса в таком состоянии, но он просто не допускал мысли, что может всерьез заболеть. Не хватало еще болеть на войне. Никто из них не болел так, чтобы освобождали от заданий, да еще таких пустяковых, как это. Кашляли, простуживались многие, но простуда не считалась в лесу болезнью. И когда там, у костра на болоте, командир вызвал его по фамилии, Сотников не подумал о болезни. А узнав, что предстоит сходить в село за продуктами, даже обрадовался, потому что все эти дни был голоден, к тому же привлекала возможность какой-нибудь час погреться в домашнем тепле.

И вот погрелся.

В лесу все-таки было легче, а тут, на ветру, он почувствовал себя совсем плохо и даже испугался, что может упасть: так кружилась голова, и от слабости вело из стороны в сторону.

— Ну как ты?

Остановившись, Рыбак обернулся, подождал, и от этого его простого вопроса, на который не обязательно было отвечать, у Сотникова потеплело в душе. Больше всего он боялся из напарника превратиться в обузу, хотя и знал, что, если случится наихудшее, выход для себя найдет сам, никого не обременяя. Даже и Рыбака, на которого как будто можно было положиться. После недавнего перехода шоссе, когда им двоим выпало прикрыть отход

остатков разбитого отряда, они как-то сблизились между собой и все последние дни держались вместе. Наверно, потому вместе попали и на это задание.

— Вот лощину протопаем, а там за бугром и деревня. Недалеко уже, — подбадривал Рыбак, замедляя шаг, чтобы идти рядом.

Сотников догнал его, и они вместе пошли по склону. Снег тут стал глубже, чем был на пригорке, ноги чаще проламывали тонковатый наст; месяц теперь блестел за их спинами. Ветер сильными порывами раздольно гулял в снежном поле, короткие полы шинели хлестали по озябшим коленям Сотникова. Рыбак вдруг обернулся к товарищу:

— Все спросить хочу: в армии ты кем был? Наверно, не рядовым, а?

— Комбатом.

— В пехоте?

— В артиллерии.

— Ну тогда ясное дело: мало ходил. А я вот в пехоте всю дорогу топаю.

— И далеко протопал? — спросил Сотников, вспоминая свой путь на восток.

Но Рыбак это понял иначе.

— Да вот как видишь. От старшины до рядового дошел. А ты кадровый?

— Не совсем. До тридцать девятого в школе работал.

— Что, институт окончил?

— Учительский. Двухгодичный.

— А я, знаешь, пять классов всего... И то...

Рыбак не договорил — вдруг провалился обеими ногами, негромко выругался и взял несколько в сторону. Тут уже начинался кустарник, заросли лозы, камыша, снег стал рыхлее и почти не держал наверху; под ногами, кажется, было болото. Сотников в нерешительности остановился, выбирая, куда ступить.

— За мной, за мной держи. По следам, так легче, — издали сказал Рыбак, направляясь в кустарник.

Они долго пробирались по широкой пойменной ложине, пока вылезли из зарослей мерзлого тростника, отчаянно шелестевшего вокруг, перешли засыпанную снегом речушку и снова пошли лугом, разгребая ногами рыхлый, глубокий снег. Сотников совершенно изнемог, тяжело дышал и едва дождался, когда кончится эта болотистая низина и начнется поле. Наконец кустарник остался позади, перед ними полого поднимался склон, снега здесь стало меньше. Но идти вверх оказалось не легче. Сотникова все больше одолевала усталость, появилось какое-то странное безразличие ко всему на свете. В ушах тягуче, со звоном гудело — от ветра или, может, от усталости, и он огромным усилием воли принуждал себя двигаться, чтобы не упасть.

На середине длинного склона стало и вовсе плохо: подкашивались ноги. Хорошо еще, что снегу тут было мало, а местами его и вовсе посдувало ветром, и тогда под бурками проступали пыльные глинистые плешины. Рыбак вырвался далеко вперед — наверно, старался достичь вершины холма, чтобы оглядеться, — кажется, уже скоро должна была появиться деревня. Но еще не дойдя до вершины, он остановился. Сотникову показалось издали, что он там что-то увидел, но отсюда ему плохо было видно, что именно. Снеговой холм полого поднимался к звездному небу и где-то растворялся там, исчезая в тусклом мареve ночи. Позади же широко и просторно раскинулась серая, притуманенная равнина с прерывистой полосой кустарника, слабыми очертаниями каких-то пятен, расплывчатых теней, а еще дальше, почти не просматриваясь отсюда, затаился в темени покинутый ими лес. Он был далеко, тот лес, а вокруг стыло на морозе ночное поле — если что случится, помощи ждать неоткуда.

Рыбак все еще стоял, отвернувшись от ветра, когда

Сотников кое-как приволокся к нему. Он уже не придерживался его следа — ступал куда попало, лишь бы не упасть. И, подойдя, неожиданно увидел: под ногами была дорога.

Они ничего не сказали друг другу, вслушались, взгляделись и медленно пошли вверх — один по правой, а другой по левой колеям дороги. Дорога, наверно, вела в деревню — значит, может, еще удастся дойти туда, не свалиться в пути. Вокруг простирался все тот же призрачный ночной простор — серое поле, снег, сумрак со множеством неуловимых теневых переходов, пятен. И нигде не было видно ни огонька, ни движения — смолкла, затихла, притаилась земля.

— Стой!

Сотников шагнул и замер, коротко скрипнул и затих под его бурками снег. Рядом неподвижно застыл Рыбак. Откуда-то с той стороны, куда уходила дорога, невнятно донесся голос, обрывок какого-то окрика вырвался в морозную ночь и пропал. Они тревожно взгляделись в ночь — недалеко впереди, в ложбинке, похоже, была деревня: неровная полоса чего-то громоздкого мягко серела в сумраке. Но ничего определенного там нельзя было разобрать.

Замерев на дороге, оба всматривались, не будучи в состоянии понять, действительно ли это был крик или, может, им показалось. Вокруг с присвистом шуршал в бурьяне ветер и лежала немая морозная ночь. И вдруг снова, гораздо уже явственней, чем прежде, донесся человеческий крик — команда или, может, ругательство, а затем, разом уничтожая все их сомнения, вдали бабахнул и эхом прокатился по полю выстрел.

Рыбак, что-то поняв, с облегчением выдохнул, а Сотников, наверно, оттого, что долго сдерживал дыхание, вдруг закашлялся.

Минуту его неотвязно бил кашель, как он ни старался унять его, все прислушиваясь, не донесутся ли новые зву-

ки. Правда, и без того уже было понятно, чей это выстрел: кто же еще, кроме немцев или их прислужников, мог в такую пору стрелять в деревне? Значит, и в том направлении путь им закрыт, надо поворачивать обратно.

Выстрелов, однако, больше не было, раза два ветер донес что-то похуже на голос — разговор или окрик, не разобрать. Выждав, Рыбак сквозь зубы зло сплюнул на снег.

— Шуруют, сволочи! Для великой Германии.

Они еще постояли недолго, прислушиваясь к ветреной тиши, обеспокоенные вопросом: что делать дальше, куда податься? Будто еще на что-то надеясь, Рыбак продолжал вглядываться в ту сторону, где во мраке исчезала дорога; Сотников же, отвернувшись от ветра, начинал мелко, простудно дрожать.

— Значит, туда нечего и соваться, — решил Рыбак, озадаченно переминаясь на скрипучем снегу. — Может, давай ложбинкой пройдем? Тут где-то, помнится, еще должна быть деревушка.

— Давай, — односложно согласился Сотников и зябко передернул плечами.

Ему было все равно куда идти, лишь бы не стоять на этом пронизывающем ветру. Чувства его дремотно тупели, по-прежнему кружилась голова. Все его усилия теперь уходили только на то, чтобы не споткнуться, не упасть, ибо тогда он, наверное, уже не поднялся бы.

Они свернули с дороги и по снежной целине направились туда, где широким пятном темнел какой-то кустарник. Снег на склоне сначала был мелкий, по щиколотку, но постепенно становился все глубже, особенно в низинке. К счастью, низинка оказалась неширокой, они скоро перешли ее и повернули вдоль зарослей мелколесья, близко, однако, не подходя к ним. Сотников плохо ориентировался на этой местности и во всем полагался на Рыбака, который облазил здешние места еще осенью, по

черной тропе, когда их небольшой отряд только еще собирал силы на Горелом болоте. Начав с небольшой диверсии на дороге, этот отряд затем перешел к делам поважнее — взорвал мост на Ислянке, сжег льнозавод в местечке, но после убийства какого-то крупного немецкого чиновника оккупанты всполошились. В конце ноября три роты жандармов, оцепив Горелое болото, начали облаву, из которой они едва вырвались тогда в соседний Борковский лес.

Сотников, однако, в то время был далеко отсюда и едва ли помышлял о партизанах. Он делал третью попытку пробиться через линию фронта и не допускал мысли, что может оказаться вне армии. Двенадцать суток пробиралась из-под Слонима на восток небольшая группа артиллеристов — тех, кто уцелел из всего когда-то мощного корпусного артиллерийского полка. Но на Березине во время переправы почти вся она была расстреляна из засады, а кто уцелел или не пошел ко дну, очутился в плену у немцев. В числе этих последних, на счастье или беду, оказался и Сотников.

Да, это были отличные ребята, его артиллеристы, разведчики, огневики и связисты. Круглый год он получал с ними только пятерки и благодарности от начальства за боевую подготовку, мастерство и меткую стрельбу на полковых, армейских и показательных учениях. Думалось, разразится война, и им будут обеспечены блестящая победа, ордена, газетная слава и все прочее, к чему они были вполне подготовлены и чего, безусловно, заслуживали. По крайней мере, больше других.

Но на войне все получилось иначе. Случилось так, что в распоряжении батареи осталось несколько считанных секунд, и наибольший результат дали те, кто скорее сориентировался, проворнее успел зарядить, кто просто оказался ловчее и не растерялся в момент, когда у него самого задрожали руки.

Рыбак уверенно шагал впереди вдоль опушки леса. Сотников опять приотстал, его суконные растоптанные бурки, недавно доставшиеся ему от убитого партизана из местных, ровно шорхали по снежной замяти. Их путь лежал вниз, ветер заходил сбоку, месяц тускло и ровно блеснул с небосклона. По-прежнему было морозно и ветрено, от стужи у Сотникова все сжалось, одеревенело внутри. Казалось, никогда в жизни он не испытывал такого собачьего холода, как в эту февральскую ночь. От усталости и однообразного шуршания ветра в бурьяне голова его наполнилась гулом и путаницей невнятных фраз, разговоров. В тусклой сумятице мыслей порой явственно проглядывало что-то из его прошлого...

Наихудшее из всего состояло для Сотникова в том, что это был его первый и его последний фронтовой бой, к которому комбат готовился в течение всей своей службы в армии. К сожалению, этот злосчастный бой еще раз засвидетельствовал тот непреложный, но нередко игнорируемый факт, что в усвоении опыта предыдущей войны не только сила, но, наверное, и слабость армии. Наверно, характер каждой следующей войны складывается не столько из типических закономерностей предыдущей, сколько из незамеченных или игнорированных ее исключений и неожиданностей, что и формирует как ее победы, так и ее поражения. Жаль, что Сотников понял это слишком для себя поздно, когда уроки его короткой фронтальной науки были для него уже бесполезны, а вся его батарейная мощь превратилась в груды покореженного металла на булыжном шоссе под Слонимом.

Все это представлялось теперь как страшный, кошмарный сон, и, хотя и потом на его долю выпало немало чудовищных испытаний, тот первый бой никогда не изгладится в его памяти.

...Четвертый день грохочущая колонна полка тащилась по лесным и проселочным дорогам на запад, потом



## Содержание

<i>В. Курбатов. Встретиться с собой</i> .....	5
<i>Сотников. Повесть</i> .....	13
<i>Дожить до рассвета. Повесть</i> .....	197
<i>В тумане. Повесть</i> .....	361
<i>Стужа. Повесть</i> .....	479